

ПРИЗВАНИЕ — СЫЩИК!

ЛУЧШИЕ ДЕТЕКТИВЫ



АЛЕКСАНДР
ШКЛЯРЕВСКИЙ



РАССКАЗ
СУДЕБНОГО
СЛЕДОВАТЕЛЯ

Москва

ЧТО ПОБУДИЛО К УБИЙСТВУ?

Рассказ следователя

1

Происшествие, которое я хочу вам рассказать, случилось в Петербурге, в 186* году в сентябре, отличавшемся в тот год необыкновенными жарами, так что петербуржцы заставили свои окна двойными рамами лишь после Покрова. Я жил в то время в *chambres garnies*¹ на Вознесенском проспекте. Квартира моя состояла всего из одной комнаты, разделенной на две части тяжелыми драпри². Одна половина составляла кабинет, залу, гостиную, словом, все, что хотите, другая, за драпри, — спальню. Ночь под шестнадцатое сентября я промучился страшной бессонницей и заснул только в девять часов утра, когда прислуга уже распорядилась подать мне самовар; но и здесь мне не удалось подремать порядком: кто-то сильно стал стучать в мою дверь, против чего коридорный попытался робко протестовать замечанием, что я целую ночь не спал.

— Ничего... По очень нужному делу, — отвечал на это мужской голос и непосредственно отнесся ко мне: — Господин следователь, отопритесь!

Делать было нечего: я встал, отпер дверь и очутился лицом к лицу с полицейским приставом, мужчиною высокого роста, с большими русыми бакенбардами, одетым в полную форму.

— Сделайте милость, извините, что обеспокоил, — сказал он, — будьте добры, одевайтесь и поедемте сейчас со мною. В вашем участке случилось важное

преступление... В квартире полковника Верховского совершено убийство...

— Верховского? На углу Петровской и Павловской улиц? — спросил я с особенным изумлением, так как семейство Верховского было мне знакомо.

— Так точно, — отвечал пристав.

— Кто же убит?

— Он сам...

— Как, каким образом?

— Ничего не знаю... Я видел только труп... Поедмете...

Я поспешил наскоро одеться, и мы отправились.

2

Улицы Петровская и Павловская, носящие теперь другие названия, принадлежат к одним из многолюдных в Петербурге. На углу их, в доме под № 29/17, в бельэтаже, занимал обширную квартиру, со множеством комнат и роскошной мебелировкой, отставной уланский полковник Валериан Константинович Верховский, человек с состоянием, заключавшимся в наличном капитале и поместьях в разных губерниях. В этой квартире, кроме него и жены Антонины Васильевны, женщины за сорок лет, бледной, с чахоточным румянцем, но сохранившей следы замечательной красоты и казавшейся, как сильная блондинка, гораздо моложе, — жили в качестве ее компаньенок две женщины: одна — белокурая, лет тридцати, Авдотья Николаевна Кардамонова, другая, моложе ее лет на шесть, — француженка, с черными жгучими глазами, Жозефина Францевна Люсеваль. Обе они были в своем роде красивы. У каждой из дам была своя горничная, а у Верховского — старик камердинер, служивший ему

с самого детства, из крепостных, испытанной преданности к своему барину. Все эти лица имели ночлег при господах в бельэтаже. К ним еще следует присоединить казачка, превратившегося по летам в лакея, который спал в передней. Остальная прислуга, состоявшая из другого лакея, кучера, повара и мальчишка, помощника его, помещалась особо, в обширной кухне, служившей также и людскою, во внутреннем флигеле. Швейцар обыкновенно был на своем месте только до вечера, а затем, если семейство хозяина, жившего в первом этаже, было дома, он отправлялся на покой, а чтобы не беспокоить себя отпиранием дверей прочим жильцам второго и третьего этажа и их гостям, оставлял подъезд целую ночь незапертым.

Когда я и пристав подъехали к дому, где жил Верховский, у подъезда уже стояли два городских, околоточный надзиратель и небольшая кучка любопытных, вероятно узнавших о происшествии в доме, которых полицейские упрашивали «честно и благородно» разойтись. Мы поднялись быстро по витой чугунной лестнице в бельэтаж. Входная дверь к Верховскому, украшенная медной дощечкой с его именем, отчеством и фамилией, была слегка приотворена, и пристав отворил ее без звонка. В передней царил какой-то странный беспорядок; прислуги не было, и только стоял один городской, но едва мы вошли в залу, слышались шаги и оттуда показались вытянутые и бледные лица лакеев, горничных и прочей домашней челяди; за ними показался и камердинер Прокофьич. Старик был взволнован, сумрачен, осунулся весь, с красными воспаленными глазами от пролитых слез. Не снимая пальто, пристав пошел вперед через залу, из которой направо шла дверь в кабинет, где случилось происшествие. Там мы застали полицмейстера, врача, помощника пристава и фельдшера.

Удивительно, как при уголовных следствиях самые простые и обыкновенные вещи принимают какой-то странный вид. Так, проходя залу, мне показалось, что и зеркала, и рояль, и кресла смотрели на меня иным взглядом, чем прежде, таинственным и загадочным... Каждая вещица в кабинете как бы говорила мне: «Я была свидетельницей преступления; убийца входил со мною в сношения; я знаю тайну, но не скажу и буду смотреть на тебя так таинственно и сурово, пока ты сам в нее не проникнешь...» Возьмем для примера нож, гвоздь, стакан... Сегодня эти вещи для нас имеют одно лишь свое прозаическое значение, но если завтра какая-либо из них послужит орудием к смерти, то она уже возбуждает в нас нечто тревожное... Кабинет Верховского служил ему также и спальней. Это была четырехугольная комната, с драпри, за которыми находилась кровать; на стене за нею висел богатый персидский ковер, с развешанным на нем оружием.

Кровавая картина представилась мне, когда я вошел в кабинет! Драпри было приподнято вверх, и на полу, около кровати, на подножном ковре, широко пропитанном целою лужею крови, в особенности там, где было туловище, лежал закутанный в одеяло труп Верховского, в таком положении, как будто он упал набок и затем опрокинулся лицом кверху. Тут же, на полу, у головы его, валялась упавшая с кровати подушка, но без следов крови. Верховскому было за пятьдесят лет, но он был очень свеж и здоров, красил волосы на голове, на усах и бакенбардах и имел вид красивого, сильного сорокалетнего штаб-офицера. Теперь лицо его не выражало прежней молодцеватости, оно сразу постарело, сделалось желтым, рот скривился направо к скуле, исказив щеку, что, при полуоткрытых больших серых недвижных глазах, придавало физиономии выражение ужаса. Меж-

ду тем голова склонилась бессильно к плечу, хотя одна рука, приподнятая к ключице, сжимала кулак, левая же спустилась ниже груди, к глубокой ране. Кинжал лежал по левую сторону трупa. Лезвие его, по анатомическому исследованию, проникло в самое сердце. Все белье около раны было смочено кровью, которая стала запекаться и вместе с рубашкой присыхать к телу. На постели, а именно на простыне, кровь видна была с двух сторон, или, если вообразить на ней лежащего человека, то с двух боков: с левой, к стене, она шла брызгами, как будто полилась фонтаном, с правой, к спуску простыни с кровати, — большое пятно и от него, ровной полоской, — ручеек к полу. Это заставляло предполагать, что удар нанесен был на кровати и в тот же момент тело или упало, или было сброшено на пол. Но убийство не могло быть совершено из каких-либо корыстных видов, так как не было сделано ни малейшего денежного или какого-либо другого похищения. В ушах моих звучал вопрос: «Кто был убийца?» Затем промелькнула мысль: «Не сам ли Верховский покончил с собой?» Однако положение трупa, доводы врача и собственные соображения, в связи с некоторыми данными, вскоре заставили совершенно отвергнуть последнее предположение. Приступая к составлению судебно-медицинского акта об осмотре трупa и положении, в каком он найден нами, я пригласил жену Верховского и ее компаньонку присутствовать при этом и подписать акт. Все эти женщины вошли вместе; они были мертвенно бледны и в сильном испуге; более других казалась взволнованною француженка, вся трясаяся, как в лихорадке; менее других — Кардамонова: глаза и вся ее физиономия выражали более удивление, чем испуг. Что же касается самой Верховской, то, если бы ее не поддерживали компаньонки, она едва ли бы была

в состоянии войти в комнату, до того женщина эта была слаба и убита горем. Я, разумеется, сейчас же усадил их, предложив Верховской самое покойное место. Лицо ее было крайне болезненно, и по нему шли какие-то странные пятна, не то подкожные от ударов, не то царапины; щека была широко повязана белым носовым платком. Кончив осмотр трупа, белья, постели и ковра, я приступил к осмотру комнаты, и здесь мое внимание было привлечено, во-первых, ножнами, висевшими на ковре, которые пришлось совершенно по мерке к кинжалу, послужившему орудием к убийству, а во-вторых, более важным обстоятельством: от ковра по полу виднелись чуть заметные пятна, уничтожившие лоск натертого воском паркета, вроде следов от мокрой обуви. В ближайших пятнах к коврику врач нашел осадки крови; следы вели к двери в залу и продолжались до гостиной, где исчезли, — вероятно, по случаю разостланного в этой комнате ковра; далее их не было найдено нигде, несмотря на тщательный обыск по всей квартире.

«Но, — рассуждал я, — если осадки крови остались на следах, то кровавые пятна должны быть и на обуви? Не отыщу ли я их на ком-либо из домашних?» Я тотчас же решился приступить к следствию и сделать всему и всем самый строжайший осмотр, хотя бы на это я должен был употребить двое суток без отдыха.

— Кто первый увидел убитого? — спросил я присутствовавших.

Вопрос этот остался на несколько минут без ответа. Я повторил его.

— Он, — проговорила француженка, указывая на камердинера.

— Вы?

— Д-д-да... я-с, — ответил старик с замешательством. — Извините, я недослышал... Глух.

Этот недостаток отвечавшего был мне известен.

Я попросил дам удалиться в гостиную и ждать своей очереди, пока я сниму показание с камердинера. Они удалились.

3

— Как вы узнали о несчастном происшествии? — спросил я Прокофьича, когда мы остались одни.

— Всему виною Филипп, — отвечал он.

— Какой Филипп?

— Дежурный, что спал в передней. Ну, как-таки, молодой малый — и ничего не слышал! Уродит же Господь Бог такое создание! Хоть ты из пушек пали, спит как мертвец. Чистая анафема! Прости мое, Господи, согрешение.

— Сами же вы где спите?

— Тут, у барина за стеной. Эта сонетка³ ко мне проведена. Рядом комната, первая дверь из залы налево, в коридоре. Да из меня толку мало. Я уже осьмой год туг на оба уха. И то сказать, пора: ведь семь десятков с годом. Покойник Константин Иванович изволили приставить меня к Валериану Константиновичу, когда они в ту пору второй день как на ножках ходить начали, а я уже был парень рослый... И странная это глухота... Иной раз при мне кто нарочно что скажет, чтоб я не услышал, — все слышу; иной — Валериан Константинович еле докричатся...

— Как вы узнали, что он мертв?

— Вот как было дело. Просыпаюсь я сегодня часов в семь, а у самого щемит да щемит чего-то сердце... Думаю себе, что бы это означало? Однако умылся, помолился Богу и стал ставить самовар. Валериан Константинович, хотя уже в супружестве больше

двадцати семи лет, но чай с барыней никогда не пьют, так, значит, приучили себя с детства, а потом с первых же дней женитьбы, оттого что барыня просыпалась часу в десятом, а им — в девять часов чтоб самовар был уже непременно на столе. Только сегодня, гляжу, стрелка уже к девяти подвигается, а звонка нет. Что бы это такое, думаю. Заспался, должно быть; отнести-ка самовар. Взял подносик под мышку и только нагнулся к самовару, как слышу, будто дверь отворилась... Глядь — стоит передо мной француженка. Бледная такая! Должно быть, она первая увидела...

«Что с вами, — спрашиваю, — барышня? Чего так рано проснулись, всегда спали часов до двенадцати?» — «Ничего, — говорит, а сама дрожит! — Тебя, — говорит, — кажется, барин звал. Иди к нему. Отчего ты до сих пор не подаешь самовар?» — «Это, — отвечаю, — мое дело».

Вхожу, смотрю, барин лежит на полу, как видели. Тут я, известное дело, страшно испужался, чуть не обронил самовар, крикнул... Вслед за тем сейчас же прибежал Филипп, далее француженка, Авдотья Николаевна; Филька махнул оповестить и в кухню; сбежался народ... Антонина Васильевна пришли уже опосля...

— Кто же, вы думаете, убил Валериана Константиновича?

— Поистине, — отвечал старик, — знать не знаю, ведать не ведаю. Не хочу на душу греха брать. Не было у него никаких таких врагов. Покойник были, царство ему небесное, характера вспльщивого, но добрые, сущий ангел. Один только и был за ними грех — до прекрасного пола очень неравнодушны. Да и как посторонний к нам заберется? Двери вчера на ночь я запер, хоть очистительную присягу приму,

и парадный, и черный ход... Притом Филька хоть и спит крепко, а все бы услышал, если б двери ломали, замки же целы; к черному ходу — девичья, и все девки налицо; ночью, говорят, не вставали. Сказать бы, какая уходила за чем-либо другим, так попросила бы запереть за собою подругу. К тому же их на этот счет у нас нестрого держат, барыня добрая: попросись только с вечера и иди себе...

— Но разве из домашних никто не мог убить?

— Из домашних? Кто же? Не я же и не Филька? А то сами посудите: бабы... куда им!

— А что вы думаете о француженке?

— Это справедливо: точно, она, должно быть, первая увидела.

— В таком случае она входила в комнату к Валериану Константиновичу. Зачем же?

Вопрос мой смутил камердинера. Он переступил с ноги на ногу и тихо проговорил:

— Секретные дела были... Валериан Константинович хотя и разлюбил ее, да она все хаживала.

— Вы говорите, что барин ваш разлюбил ее?

Прокофьич кивнул головою.

— Не ревновала ли она его к кому-нибудь?

— Ни к кому. Была у ней ревность, да прошла: года четыре или пять назад, когда барин ухаживал за Авдотьей Николаевной.

Что ни вопрос мой, то семейная жизнь Верховского разоблачалась все более и более передо мною, становясь вместе с тем все запутаннее и грязнее.

— Теперь Валериан Константинович вновь сошелся с Кардамоновой? — предложил я новый вопрос, желая катехитическим путем⁴ добраться какой-нибудь сути.

— Нет. С француженкой была у них любовь, а с этой, почитай, и не было. Так, с недельку занима-

лись они ею, а далее поступила француженка, и бросили вовсе.

— Как же Авдотья Николаевна?

— Ничего себе.

— Барыня не ревновала?

— Нет. Допрежь огорчались, а потом махнули рукой, с тех пор как родился у Валериана Константиновича на стороне ребенок... Этому лет двадцать с лишним будет... Видят, что ничего не поделают.

— Где же вчера был барин? Доктор нашел, что он с вечера был, должно быть, выпивши.

— Были-с... Утром они уезжали к полковнику Филофею Дмитриевичу Кавеляеву, на именины. Там они пробыли до шести часов вечера и возвратились хмельны; но спать не легли, а только переоделись и опять поехали было из дому, сказав барыне, что едут по делу. И поехали: должно быть, ездили они к своей чухонке, да не застали ее дома, выпили с досады еще и возвратились домой злющий-презлющий... Часа полтора, два ездили — не более, потому не успел я сходить на кухню да в лавочку за табаком, как они тут как тут.

— Про какую чухонку вы говорите? Вы знаете ее адрес и кто она?

— Знаю. Мудрено прозывается: Бэта Крестьяновна; живет в Басковом переулке. Раза два отвозил я ей деньги. Непутящая! Познакомился с нею Валериан Константинович у Дорота⁵ и с тех пор стал ездить. Понравилась она ему лучше француженки.

— Ну последняя и ревновала?

— Может быть, и ревновала бы, да вряд ли ей это было известно.

— Приехавши, Валериан Константинович позвал вас к себе?

— Да-с, позвонили и приказали подать бутылку коньяку, лимону и позвать барыню. После того, когда

я подавал, что приказывали, Антонина Васильевна еще не приходили; а барин сидели вот на этом кресле, опустя голову, хмельные. «Убирайся ты, — сказали они мне, — от меня к черту и не смей входить: сегодня ты мне не нужен, я и сам разденусь». «Эге! — подумал я, — скверно: верно, будет беда барыне...» Валериан Константинович всегда отсылал меня с глаз долой, если когда задумает что недоброе. Совестился... И действительно, Филька говорил, что была между ними большая ссора, но подслушать, за что, он побоялся.

— Значит, — остановил я поток слов Прокофьича, — вы ничего не знаете, за что началась и чем кончилась ссора?

— Не знаю-с. Да и никто, потому что как только барин позовут барыню в кабинет, то всем уж известно, что они в больших сердцах, и все тогда уходят по своим комнатам, чтоб не показываться на глаза, а то они начнут, бывало, придирааться.

— Вы мне говорили, — продолжал я допрос об отношениях Валериана Константиновича к Кардамоновой и Люсеваль, — этого, кроме вас, никто не знает?

— Как не знать! Все знают, начиная с барыни.

— Это очень важно! — воскликнул я невольно. — Не было ли претензий на Валериана Константиновича и со стороны женской прислуги? — спросил я, принимая в соображение нравственные достоинства покойника.

— Нет. Насчет этого покойник очень строги и горды были... И ни Боже мой!

— Я чрезвычайно спешу следствием, — заметил я Прокофьичу, — и поэтому не успел позвать священника и даже предупредить вас, что все высказанное мне вы должны подтвердить под присягою. Я наде-